

СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ МИМЕСИС, ИЛИ «ЖИЗНЬ В ЕЕ РЕВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ»

Евгений Добренко

Чтобы понять, что мир, создаваемый соцреализмом, не был ни «правдой жизни» (как утверждала сама эта культура), ни ложью (как утверждали его противники), следует обратиться к вопросу о понимании соцреалистической культурой реальности. Нервом соцреализма всегда была дихотомия двух начал — «реалистического» и «романтического». «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет» — говорил Израилю Моисей, напоминая о чудесных годах сорокалетнего странствия (Второзак. 8, 4). Но это чудесное сохранение одежды и обуви еще не объясняет, как было возможно странствование в пустыне, когда за сорок лет дети выросли во зрелых людей, и одежда и обувь, хотя и неветшающие, становились не впору. Поэтому в галахических легендах на поставленный вопрос дается дополнительное разъяснение, а именно, что одежда и обувь Израиля не только не ветшали, но и чудесным образом всегда приспосаблились к вырастающим их собственникам. Вот такой-то и неизменной, и всеприспособительной одновременно являлась теория соцреализма зрелого, позднесталинского периода.

За счет чего могла обеспечиваться подобная жизнестойкость механизма соцреалистической культуры? В основе лежит свободное пребывание в ней различных противоположных начал («реализм» — «романтизм», «конфликтность» — «бесконфликтность», «лакировка» — «жизненная правда» и т. д.) — достаточно лишь в нужный момент актуализировать нужный полюс, чтобы вся парадигма поднялась на поверхность. Исходно популярным было понимание соцреализма как «слияния» реализма и романтизма. Оно сказалось в ходе дискуссии на страницах журнала «Октябрь» в 1947—1948 годах. Началом ее послужила статья А. Фадеева «Задачи литературной критики» (Октябрь, 1947, № 7), где один из главных и авторитетных теоретиков и практиков соцреализма рассуждал о «расщеплении» реалистических и романтических начал в «старом реализме» и определял реализм социалистический как метод, восстановивший распавшуюся связь в качественно новом синтезе. Выступившие в ходе дискуссии критики (в особенности полемизировавшие друг с другом О. Грудцова и Б. Бялик) развили эту идею. И, доведя ее до логического предела, вербализовали то, что в соцреалистической культуре до той поры вербализовано не было. Так, Б. Бялик прямо призвал писателей «приподнимать действительность», делать ее «поэтической» и «высокой» и на этом пути «соединить вместе» реализм и романтизм¹.

Эта установка, отражая *реальные* потенции соцреализма, входила в противоречие с теми позициями, которые утверждались для «нового метода» даже в период его оформления. Выступая на Первом съезде советских писателей А. Жданов говорил: «Для нашей литературы, которая обеими ногами стоит на твердой материалистической почве, не может быть чужда романтика, но романтика нового типа, романтика революционная. Мы говорим, что социалистический реализм является основным методом советской художественной литературы и литературной критики, а это предполагает, что революционный романтизм должен входить в литературное творчество как составная часть, ибо вся жизнь нашей партии,

вся жизнь рабочего класса и его борьба заключаются в сочетании самой суровой, самой трезвой практической работы с величайшей героикой и грандиозными перспективами... *Советская литература должна уметь показать наших героев, должна уметь заглянуть в наше завтра. Это не будет утопией, ибо наше завтра подготавливается планомерной созидательной работой уже сегодня*². Как видим, ждановская формулировка отличается от той, которая была дана Б. Бяликом. Отличие здесь принципиальное: призыв «приподнимать» и «романтизировать» действительность фактически выявил тот разрыв, который реально существовал между действительностью и тем, что будет «завтра». Ведь если действительность нужно «приподнимать», значит она сама по себе недостаточно романтична. Этот тезис подлежал немедленной корректировке. Ее-то и осуществил В. Ермилов, этот Белинский соцреализма — ни до, ни после него этот «художественный метод» не имел столь адекватного своей этике и эстетике теоретика.

Линия редактируемой В. Ермиловым «Литературной газеты» в этом вопросе была не столько обличающей (как не раз бывало), сколько именно последовательно корректирующей (следует учитывать и то, что Б. Бялик лишь досказал до конца мысли А. Фадеева). Лишь раз «Литературная газета» назвала призывы Бялика к «романтизму» доктринерством³, хотя активно реагировала на ход проходящей более года дискуссии на страницах «Октября». Это определение полно смысла: концепция Бялика была объявлена доктринерством потому, что не могла быть отвергнута: в сущности, в ней все было верно, и нужно было употребить немало изворотливости, чтобы поистине мастерски выйти из тупика, в который завела теорию соцреализма неосторожная (идущая еще от полемики Горького и рапповцев) идея «расщепления» и «слияния» двух начал в новом методе.

В. Ермилов публикует подряд из номера в номер в «Литературной газете» свою большую работу «За боевую теорию литературы!», где переводит дискуссию о соцреализме в новое русло. Он достигает того, чего не могла достигнуть теория соцреализма за предыдущие пятнадцать лет. Ермилов теоретически обосновал приход нового, постутопического сознания. Идея наступающей прекрасной жизни сама по себе не была новой для середины 1940-х годов (она шла из 1920—1930-х), но эта идея исходила из утопического сознания и уже не отвечала сознанию новому — постутопическому. В постутопии существует иное сознание и качественно иное время — время *свершившейся* утопии, то есть утопии, переставшей быть утопией, но ставшей «реальностью». И отсюда — новое качество соцреализма именно в послевоенное десятилетие. Ермилов и стал наиболее последовательным теоретиком его в это время.

Очевидно, мысль о романтичности *самой* действительности родилась у Ермилова еще до полемики с Бяликом. Еще в 1947 году «Литературная газета» провозгласила в одной из своих передовых статей: «Любая, самая красивая, смелая поэтическая мечта художника находит живой отклик у миллионов советских людей. Поэзия переходит в жизнь, потому что сама жизнь в нашей стране стала *поэтической*»⁴. Но только в статьях, опубликованных осенью 1948 года в «Литературной газете», Ермилов довел логику своих рассуждений до блеска известной формулы «Прекрасное — это *наша* жизнь». Здесь была целая эстетическая программа.

В нашей советской жизни, — рассуждал Ермилов, — поэзия, романтика стали *самой действительностью*, у нас нет конфликта прекрасного и реального и потому у нас художник ищет источник красоты и романтики не в стороне от общественной жизни, от дела, а в них самих. Поэтому, например, новаторское величие Маяковского состоит в том, что «он явился создателем новой поэтики — *партийной* поэтики *утверждения* социализма, утверждения всей “прозы” советской жизни, прозы, ставшей поэзией»⁵. Почему неверна концепция Бялика? Да потому, отвечал Ермилов, что это не революционная, а эволюционная теория и из нее следует, что реализм, то есть художественное исследование самой по себе

реальной действительности не может дать ничего *утверждающего*, положительного. Эта точка зрения начисто отрицает *романтику самой действительности*, ее *поэзию*. Тогда как «сама наша реальная действительность, в ее трезвой, деловой повседневности, *романтична*, глубоко поэтична по своей внутренней сути — вот одно из исходных положений при определении сущности социалистического реализма»⁶. Бялику в «Октябре» оппонировала О. Грудцова⁷, но и она, с точки зрения Ермилова, непоследовательна, поскольку утверждает что «дурное сегодня в нашей стране не имеет столь решающего значения, чтобы быть характерным, и борьба прогрессивных явлений с реакционными была бы неравной борьбой сильного противника со слабым»; из этого утверждения Грудцова делала неверный, с точки зрения Ермилова, вывод о необходимости «раскрытия процесса становления коммунистического человека, *борьбы внутри него различных начал*»⁸. Ермилов, напротив, считал, что это вовсе не главное, ибо внутренней борьбы нет, а есть борьба внешняя и именно она-то и романтична. Таким образом, концепция Ермилова о «реальной романтике самой нашей социалистической действительности» снимала разом все возникающие противоречия. Если «в числе ведущих положений нашей эстетики должно быть положение *о поэзии и романтике нашей реальной социалистической действительности*», то вывод напрашивается сам собой: «Знаменитый тезис Чернышевского: прекрасное есть жизнь, — расшифровывается для нас в наше время как положение о том, что прекрасное — это наша социалистическая действительность, наше победоносное движение к коммунизму»⁹.

Теория соцреализма, выдвинутая Ермиловым, строилась на ряде простых лозунгов: «Против отрыва от современности!», «Против “романтической” путаницы!», «За боевую теорию литературы!», «Прекрасное — это наша жизнь!»

Под знаком ермиловской «боевой теории литературы» прошло время до 1952 года. Здесь, однако, нужно остановиться на проблеме конфликта. Именно в отношении к этой проблеме проявилась та двойственность соцреализма, то относительно свободное пребывание в нем противоположных, на первый взгляд, установок, о котором шла выше речь. «Теория бесконфликтности», которая подвергалась осуждению в 1952 году, имеет свою историю. В том виде, в каком эта «теория» критиковалась и в каком она была «вскрыта», ее можно свести к тому, что принципы соцреализма исключают возможность изображения в современной литературе конфликтов, равно как и вообще отрицательных явлений советской жизни.

Действительно, во второй половине 1930-х годов новая культура последовательно и настойчиво утверждала мысль о том, что, согласно представлениям о поступательном развитии человечества от капитализма к коммунизму, в фазе социализма «не может быть не только антагонистических, но и неантагонистических противоречий», что даже самая «возможность противоречий и конфликтов исключена»¹⁰. Раньше, в 1920-е годы, партия ожидала от литературы изображения конфликтов между «старым и новым», между дореволюционным и пореволюционным. Причем, все отрицательные явления считались «пережитками капитализма» (в известной статье М. Щеглова о романе Л. Леонова «Русский лес» в «Новом мире» писателю как раз и ставилось в вину то, что при трактовке образа Грацианского он остался, по сути, на этой же позиции). В новых условиях этот конфликт должен был постепенно «изжить себя». Эта теория «изживания конфликтов» прочно вошла в литературно-критическое сознание: «Безвозвратно ушел в прошлое литературный конфликт “Молоха”. Но и конфликт “Цемент” или, скажем, “Ведущей оси” уже не живет на сегодняшнем нашем заводе. Советские писатели создали произведения о героическом труде советских людей, опирающемся на высокую сознательность, жертвенное самоотречение. Этот труд, преодолевая все враждебные силы и жесточайшие испытания, голод, холод, усталость, подготовил наши великие сегодняшние победы»¹¹, — писалось уже после

войны, в эпоху свершившейся утопии. С оформлением в первой половине 1930-х годов теории соцреализма возникла формула об «изображении действительности в ее революционном развитии». Сама эта установка, безусловно, прямо вела к «теории бесконфликтности». Фактически, из сферы изображения ушли все конфликты между личностью и государством, властью, конфликты, возникающие вследствие насильственной коллективизации, административных ссылок, высылков, произвола при осуждении на принудительные работы, репрессий, реальные конфликты в семьях, в коллективе, на войне, изображение голода, нужды и нищеты. Не следовало писать о смерти (за исключением героической), о сомнениях, слабостях и т. п.¹²

Партийные постановления первых послевоенных лет эту тенденцию, конечно, усиливали, но в известных ждановских докладах о журналах «Звезда» и «Ленинград» оставались упоминания о необходимости «бичевать недостатки», «все, мешающее нашему движению вперед» и т. п. Это не были просто «дежурные слова» — сталинская культура всегда оставляла для себя лазейку, и две-три «дежурные» *сегодня* фразы могли *завтра* развернуться в новую программу развития литературы (что и произошло впоследствии) — их нужно было только гальванизировать, и литературе задавался новый, подчас диаметрально противоположный вектор движения.

Тенденция, определенная постановлениями 1946 года, выродилась, как известно, в изображение борьбы «хорошего с лучшим» и «лучшего с отличным», она нашла свое выражение в ермиловской «боевой теории литературы». Критика писала в эти годы: «Советский писатель наших дней не может положить в основу своих произведений драматические конфликты и коллизии, которые были характерны для литературы двадцатых — начала тридцатых годов. Тогда советская литература отражала жизнь в условиях классовой борьбы, и классовая борьба определяла характер конфликтов, изображающихся в художественных произведениях. Теперь же антагонистические классы в нашей стране ликвидированы, и писатель должен уметь находить для своих произведений новые реальные коллизии и конфликты, отражающие неантагонистический характер противоречий, существующих в социалистическом обществе»¹³. Соцреализм мыслил о конфликтах и противоречиях вообще в новых категориях: «Борьба нового со старым, — писал Е. Холодов, — в форме критики и самокритики, являющаяся новой диалектической закономерностью советского общества, не нашла еще полного и достойного воплощения в нашей драматургии. Далекое не всегда драматургам удается подняться до раскрытия противоречий действительности художественно, т. е. правдиво и убедительно показать преодоление этих противоречий, а значит, и движение вперед. Это обусловлено тем, что критика не выступает в пьесах в действительном единстве с самокритикой; что драматургией нашей не осознан и как следует не показан еще истинный смысл самокритики, как формы преодоления противоречий и победы нового над старым в самой личности. Так как в нашей советской действительности не существует противоречий антагонистических, неразрешимых, то естественно, обнаруженное противоречие подлежит разрешению, преодолению. Но для того, чтобы противоречие, обнаруженное прожектором критики, было в полной мере и до конца преодолено, необходимо, чтобы критика была признана критикуемым, т. е. чтобы она приняла форму самокритики. Уже самый факт приятия критики предполагает определенную степень коммунистической воспитанности»¹⁴.

Новый вектор, заданный литературе, обычно связывают с началом 1952 года, когда в «Правде» в одной из передовиц было заявлено, что «нам Гоголи и Шедрины нужны», когда 7 апреля 1952 года в ней была опубликована передовая статья «Преодолеть отставание драматургии» и когда, наконец, эта установка была подтверждена в Отчетном докладе на XIX съезде партии в октябре 1952 года, где

Маленков заявил: «В своих произведениях наши писатели и художники должны бичевать пороки, недостатки, болезненные явления, имеющие распространение в нашем обществе... отсутствует сатира... Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед». Только тогда развернулась широкая кампания в критике, в ходе которой прокламировался отказ от «теории бесконфликтности», «лакировки», «иллюстративности», зазвучали настоячивые призывы к «правде жизни», к изображению «конфликтов», возрождению сатиры и т. д.

Здесь стоит сказать, что постепенный поворот наметился несколько раньше — в 1951 году. Он ощутил в той реакции, какая возникла на статью А. Гурвича «Сила положительного примера» (Новый мир, 1951, № 9). С резким осуждением этой статьи выступила «Литературная газета» еще до соответствующей статьи «Правды» «Против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике» (28 октября 1951 года). Поскольку к публикации статьи А. Гурвича было причастно все руководство Союза писателей (вплоть до А. Фадеева)¹⁵, не исключено, что сам факт ее появления был поводом к развертыванию новой кампании. В статье А. Гурвича, в частности, не было принято предложение, обращенное им к В. Ажаеву «с помощью ножниц» избавиться от явно лишней в романе «Далеко от Москвы» истории с диверсантом и вообще темой борьбы с вражеской агентурой. В ответ на это предложение «Литературная газета» заявила: «Такая черта как бдительность, умение распознать и обезвреживать врага, является необходимой чертой морального облика советских людей, важнейшей гранью... советского гуманизма»¹⁶.

Начало поворота ощутил Ермилов, безошибочно ориентировавшийся в смене идеологических векторов. В статье «Некоторые вопросы теории социалистического реализма» он уточняет формулу эстетического идеала соцреализма, введя в нее понятие *борьбы* за коммунизм, как существеннейшего элемента «кодекса прекрасного». «Прекрасное — это наша жизнь, наша борьба...» — заявил Ермилов, пытаясь освободить свою «боевую теорию» от «пассивно-созерцательных элементов»: «*сознание прекрасного как жизни и жизни как прекрасного*, действенное, активное участие в преобразовании действительности, в *борьбе* за коммунизм — таковы принципы, на основе которых добивается своих успехов наша литература»¹⁷.

Оставив в своей «боевой теории литературы» формулу «прекрасного как жизни и жизни как прекрасного» и введя в нее понятие «борьбы», Ермилов пытался приспособить свою универсальную теорию к новым веяниям, но она не выдержала напора новой кампании: в 1952 году стало ясно, что речь идет о резком повороте в общей идеологической линии. Этот поворот осуществлялся по всем правилам работы идеологического механизма — на поверхность всплыло начало, пребывавшее в пассиве. Нужно было только реанимировать и актуализировать то, что в культуре содержалось. А именно:

нужно было вспомнить, что «...самокритика безусловно необходима для всякой живой и жизненной партии. Нет ничего пошлее самодовольного оптимизма» (В. И. Ленин «О смещении политики с педагогикой»);

нужно было обратиться к статье Сталина «Анархизм или социализм?», где утверждался такой «общефилософский тезис»: «...коль скоро жизнь изменяется и находится в движении, — всякое жизненное явление имеет две тенденции: положительную и отрицательную, из коих первую мы должны защищать, а вторую отвергнуть»;

нужно было вспомнить, что 26 января 1925 года на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) Сталин выступал с речью о событиях в селе Дымовке, где «кулацкими бандитами» был убит селькор Малиновский. Возражая тем, кто считал, что эту историю не следовало предавать гласности, Сталин говорил: «Не надо бояться

вытаскивать кусочки жизни на свет божий, как бы ни были они неприятны... я думаю, что здесь надо говорить не о недостатках и не об увлечении некоторых писателей, вскрывающих изъяны в нашей работе, а об их заслугах»;

нужно было опять воскресить в памяти статью Сталина «Против опошления лозунга самокритики», написанную в 1928 году, где содержался призыв к «самокритике и беспощадному разоблачению собственных минусов» и делался вывод о том, что «самокритика есть неотъемлемое и постоянно действующее оружие в арсенале большевизма, неразрывно связанное с самой природой большевизма, с его революционным духом»;

нужно было вспомнить письмо Сталина Горькому, написанное через полтора года после статьи «Против опошления лозунга самокритики», в котором Сталин писал: «Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса. Конечно, самокритика дает материал врагам. В этом Вы совершенно правы. Но она же дает материал (и толчок) для нашего движения вперед, для развязывания строительной энергии трудящихся, для развития соревнования, для ударных бригад и т. п. Отрицательная сторона покрывается и *перекрывается* положительной»;

нужно было выдвинуть вперед то, что содержалось в зачаточном виде в ждановских докладах о журналах «Звезда» и «Ленинград». В частности те места, где в числе других признаков идеологии акмеистов осуждался «отказ от какой бы то ни было критики действительности», где говорилось, что «отбирая лучшие чувства и качества советского человека, раскрывая перед ним завтрашний его день, мы должны показать в то же время нашим людям, какими они не должны быть, должны бичевать пережитки вчерашнего дня, пережитки, мешающие советским людям идти вперед»;

нужно было вспомнить еще и речь Жданова на «философской дискуссии», где говорилось, что «наша партия уже давно нашла и поставила на службу социализму ту особенную форму раскрытия и преодоления противоречий социалистического общества (а эти противоречия имеются...), ту особенную форму борьбы между старым и новым, между отживающим и нарождающимся у нас в советском обществе, которая называется критикой и самокритикой».

Когда все это было быстро поднято на поверхность, критике стало «легко понять, какую огромную, поистине неосценимую роль в укреплении нового, социалистического строя, в разгроме и уничтожении врагов социализма, в разоблачении всего, что мешает нашему движению к коммунизму, призвано играть наше искусство»¹⁸. В результате возник новый взгляд на советскую литературу. В статье со знаменательным названием «Отрицательные образы и непримиримость писателя» заместитель главного редактора «Литературной газеты» Б. Рюриков писал: «Советская литература имеет славные традиции показа положительного героя, передового борца своей эпохи, вдохновенного борца за победу дела народа. Но к числу ее славнейших традиций относится и традиция *разоблачения врага*. Не умея ненавидеть, невозможно искренне любить, учил Горький. Великий гуманист, сердце которого пламенело страстной любовью к людям, видел в то же время задачу литературы в воспитании ненависти ко всему чуждому... Живой и плодотворной... жизненно важной для воспитания наших людей является эта традиция. В литературе 1920-х и 1930-х годов запечатлены образы классовых врагов — кулаков, нэпманов, представителей эксплуататорских классов, свергнутых революцией. Ныне в нашей стране нет враждебных социализму классовых сил, нет базы для их существования», — но есть, писал Рюриков, отщепенцы. «Что прежде всего характерно для отщепенца? — спрашивал он и отвечал: — Индивидуализм, отсутствие чувства связи с родиной, равнодушие к судьбам общества. Нетрудно видеть, что питательной средой для отщепенства является *мещанство* с

его индивидуализмом и себялюбием, мизерностью и узостью интересов, сводящихся к личному устройству. В нашей критике, — сетовал Рюриков, — нередко фигура умолчания по отношению к отрицательным персонажам. О них говорится скороговоркой. Из того факта, что в советском обществе нет антагонистических отношений, некоторые литераторы делают торопливый вывод, что непримиримых, антагонистических противоречий и конфликтов уже не может быть в произведениях советских писателей. Следует, однако, помнить, что в нашу среду стремятся проникнуть люди, представляющие идеологию и стремления правящих кругов зарубежных капиталистических стран. Известно, что классовая борьба ныне перенесена на международную арену. Преобладание собственнических, эгоистических инстинктов, античеловеческих стремлений закономерно ставит отщепенца за пределы советского общества. Следовательно, тут уже не могут действовать нормы и критерии, обязательные для отношений советских людей. И если наше общество, государство разоблачает и сурово карает врагов народа, врагов нашего строя, то такую же кару, такой же суд над представителями старого мира должна творить и советская литература»¹⁹.

Судебная лексика 1930-х годов вновь вошла в литературу, и здесь мы подходим, пожалуй, к главному вопросу: а для чего, собственно, нужен был весь этот поворот в литературе? Ответа на него не дают ни советские, ни западные историки литературы. Например, В. Казак объясняет появление понятия «теория бесконфликтности» в 1952 году тем, что «нужно было как-то объяснить упадок советской литературы при Сталине»²⁰. Это весьма распространенное объяснение представляется ошибочным. Во-первых, тоталитарной культуре никогда не нужно было ничего «объяснять» — она тотально права, да и не перед кем ей оправдываться; во-вторых, с точки зрения самой этой культуры, никакого «упадка» не было. Объяснение в другом.

Соцреалистическая критика говорит языком власти и постоянно корректирует процесс в нужном власти направлении. В этом смысле поворот в идеологии, происшедший в 1952 году, прямо связан с теми изменениями, которые назрели на вершине власти. Историки единодушны в том, что сталинская смерть спасла страну от новой страшной волны репрессий, которая по размаху ничем не уступала бы волне 1937—1938 годов. Все признаки назревавшей бури многократно приводились в исторической литературе. Смена идеологического вектора в 1952 году прямо отражала этот процесс и, судя по охвату, широте и интенсивности начавшейся кампании, исходила непосредственно от Сталина.

Интересна, однако, и внутрикультурная ситуация. Все, что было объявлено впоследствии «теорией бесконфликтности», естественным образом вытекало из характерной для соцреализма апологетики системы. С другой стороны, сама система строилась на конфронтационном сознании, культе борьбы и поиске врагов. На первый взгляд, возникает противоречие: с одной стороны, «прекрасное — наша жизнь», с другой — «кругом враги», «усиление классовой борьбы», требование «бдительности». Однако, для соцреализма никакого противоречия здесь нет — как выше уже говорилось, в нем сосуществуют противоположные начала и ни одно из них не должно «абсолютизироваться», а потому всегда остается возможность маневра и актуализации одного из них. При этом второе никогда абсолютно не отрицается — оно остается в пассиве, «про запас» с тем, чтобы потом ненужную уже в активе линию можно было «осудить», сказав о «головокружении от успехов», и перевести ее в пассив: все это простые политические механизмы.

Можно увидеть эти процессы в ходе самой борьбы с «бесконфликтностью». Характерный пример: в самый разгар этой борьбы «Литературная газета» публикует передовую статью «Учебник жизни», где формулируется как бы уравновешивающая тенденция: «Наше героическое время, время великих сталинских строек коммунизма, время революционного преобразования земли, время мужествен-

ной борьбы народов за дело мира постоянно и властно требует создания новых героических образов, которые стали бы вдохновляющим примером поведения. Советский читатель — а советский читатель — это весь народ! — хочет увидеть образ советского человека — героя мирного созидательного труда, показанного во весь его исполинский рост, во всем богатстве и многогранности его характера и его судьбы. И образ этот должен быть написан с такой обобщающей силой, чтобы всюду среди читателей появились подражатели и последователи еще не созданного литературного героя книги о первой пятилетке, как есть сейчас повсеместно подражатели и последователи Воропаева, Корчагина, Тутаринова! Читатель, который хочет найти в книге образец поведения, пример того, как надо строить жизнь, нетерпеливо ждет книг, в которых будут яркие образы коммунистов... нам нужны все новые и новые книги, которые служили бы советским людям учебником жизни, воспитывая в них качества, которые культивирует Коммунистическая партия во всех трудящихся нашей Родины»²¹.

В *этом же* номере газеты печатается большая статья заместителя главного редактора Рюрикова, основной тезис которой сводится к утверждению: «литераторы, которые не видят (или делают вид, что не видят) реальности влияния старого, не отражают правдиво жизненных конфликтов, литераторы, которые изображают жизнь, как голубую и идиллическую, нарушают суровую правду нашей эпохи — эпохи трудных, но прекрасных и героических дел»²².

Кампания борьбы с «бесконфликтностью» должна была завершиться вовсе не изменением литературной политики. Она преследовала политико-идеологические цели, переводя вновь общественное сознание на рельсы конфронтационного мышления довоенного и военного образца. Поэтому, когда в январе 1953 года разразилось «дело врачей», задуманное как пролог к разворачиванию новой волны репрессий, но ставшее, по иронии истории, последним актом сталинского террора, общественное сознание было уже вновь готово к восприятию идеологической семантики образца 1937 года.

13 января 1953 года было опубликовано сообщение ТАСС и общий для всех изданий сопроводительный текст «Шпионы и убийцы разоблачены». Там, в частности, говорилось: «Враги мира и социализма не брезгают ничем, тщетно пытаются приостановить наше поступательное движение. В их арсенале видную роль играют шпионаж и диверсии, террор и вредительство. Бдительность и еще раз бдительность! Вот что должны противопоставить советские люди всем проискам поджигателей войны и их агентуры. Эта агентура засылается к нам извне, из капиталистических государств или вербуются иностранными разведками среди подонков нашего общества. Факты показывают, что она может действовать только там, где налицо преступное ослабление бдительности, где имеют место благодушные, самоуспокоенность, ротозейство... Товарищ Сталин учит, что пока существует капиталистическое окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы разведками иностранных государств. Это было сказано в 1937 году. И это должны помнить все советские люди сегодня. Как ничтожных козявок, раздавит жалкую кучку презренных предателей Родины советский народ-богатырь. Их постигнет та же участь, которая постигла всех изменников Родины. Так было. Так будет. “Если враг не сдается, его уничтожают” (А. М. Горький)».

Ссылаясь на передовую статью «Правды» «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», «Литературная газета» писала в эти дни: «Нет, не к затуханию борьбы ведут наши успехи, а, наоборот, — к ее обострению. Чем успешнее будет продвигаться наша страна вперед по пути к коммунизму, тем острее будет борьба доведенных до отчаяния, обреченных на гибель врагов народа. Думать о затухании борьбы могут только правые оппортунисты, люди, стоящие на антимарксистской точке зрения... каждый честный человек в нашей стране,

преодолевая беспечность, должен растить свою настороженность, чтобы во-время уметь распознать людей с “двойным дном”, людей фальшивых, не заслуживающих доверия.

Людское сердце, не дремли,
своей взыскательностью строгой,
своей недремлющей тревогой
храни покой родной земли!

...разве не долг нашей советской литературы, всего нашего искусства стать школой подлинного распознавания человека. Изобрази зоркого человека, — вот, что подсказывает писателю дума о бдительности. Идиллий не существует! Есть жизнь, полная борьбы нового со всем старым, не желающим добровольно сойти со сцены, глубоко замаскированным, и сопротивляющимся всеми силами и средствами. Литература и искусство нашей страны должны помочь советским людям развить в себе те качества, которые необходимы для распознавания врага... Партия учит советских литераторов тому, что борьба с теорией бесконфликтности — не самоцель, что требование — усилить изображение борьбы наших людей... — продиктовано самой действительностью... Любовь к Родине неотторжима от ненависти к ее врагам, а ненависть — это действие!... Бдительность должна стать органическим свойством каждого советского человека. Бдительность и еще раз бдительность!»²³

Именно в таком повороте общественного сознания был истинный смысл идеологической кампании, направленной вроде бы на отход от «лакировки действительности» и «бесконфликтности». Эти идеи содержались уже в Отчетном докладе ЦК, с которым выступил на XIX съезде ВКП(б) Маленков: «...процесс развития от низшего к высшему протекает не в порядке гармонического развертывания явлений, а в порядке раскрытия противоречий... в порядке “борьбы” противоположностей, действующих на основе этих противоречий».

И критика прекрасно понимала, что «проблема конфликта в искусстве имеет далеко не узко литературное, но и большее политическое значение. Значение это особенно возрастает в связи с все усиливающейся враждой империалистических хищников к лагерю демократии и социализма, к Советскому Союзу. Раскрытие и разоблачение в остром, непримиримом конфликте всех форм и методов вражеской деятельности служит не только правдивому отражению действительности, но и является активным средством воспитания политической бдительности. Глубоко ошибаются те, кто полагает, что изображение вражеской агентуры, шпионажа, вредительства и т. п. не может служить материалом “большого искусства”. Такие мнения в корне ошибочны прежде всего потому, что в них неверно рассматривается вопрос о типическом. Можем ли мы сказать, что попытки поджигателей войны, врагов нашей страны подорвать мощь Советского Союза изнутри являются случайными и нетипичными фактами? Разумеется, нет. Такие попытки выражают сущность человеконенавистнического буржуазного мира и его отношение к миру социализма, то есть вполне типичны. Закономерность таких явлений исчерпывающим образом раскрыл товарищ Сталин в 1937 году... Из этого ясно, что говорить о нетипичности подобных форм борьбы — значит способствовать приглушению бдительности на том историческом этапе, когда бдительность особенно нужна»²⁴.

Ссылки на «типичность» подобного рода конфликтов и явлений здесь весьма характерны. Проблема типического стала следующим после ермиловской «боевой теории литературы» этапом осознания соцреализмом действительности. Именно в соцреализме спор о типическом имел оправдание. Сама проблема типического родилась (а точнее, была реанимирована) в соцреалистической теории толь-

ко после актуализации второго, «конфликтного» вектора в литературе: началось «взвешивание» положительных и отрицательных начал в изображенной действительности и все последующие десятилетия соцреалистическая критика, по сути, и занималась подобным нормированием в поисках подвижной нормы. Колебание нормы, как мы уже видели, было невозможным в сталинской культуре, а потому самое типическое понималось здесь иначе, а именно так, как было сформулировано в Отчетном докладе ЦК на XIX съезде партии Маленковым: «типичность соответствует сущности данного социально-исторического явления... Типическое есть основная сфера проявления партийности в реалистическом искусстве. Проблема типичности есть всегда проблема политическая»²⁵.

Таким образом, перед критикой ставилась задача «выявления сущности» и, на этой основе, определения уровня типичности. Сама критика, однако, как мы уже знаем, ничего не определяла, руководствуясь извне заданной нормой. Поэтому проблема типического до 1952 года решалась относительно просто: хорошее типично, нехорошее — нетипично. В книге об А. Корнейчуке М. Пархоменко, например, исходил из того, что все отрицательное есть «явное исключение из нашей жизни», а отрицательные черты действительности «выступают как уродливое и становящееся исключительным, чему и противостоит... прекрасное и вместе с тем типическое». Руководствуясь ермиловской формулой, М. Пархоменко полагал, что «исключение из передового» и есть «исключение из типического», а Л. Тимофеев, например, утверждал в докладе на сессии Отделения литературы и языка АН СССР: «искусство художника должно состоять именно в том, чтобы суметь раскрыть отрицательный образ и вместе с тем показать его как явление, имеющее распространение в обществе и все же по отношению к типическим обстоятельствам социалистического общества — явление индивидуального порядка»²⁶.

Но поскольку в 1953 году ермиловская формула была трансформирована, возник новый взгляд на проблему: «Борьбу нового со старым художник должен показывать не только как борьбу передового и реакционного, нравственного и безнравственного, хорошего и плохого, но и как борьбу *прекрасного и уродливого*. В искусстве эстетическая оценка должна необходимо сочетаться с оценкой этической и политической. Прекрасное в нашей жизни — это осуществление нашего коммунистического идеала, реальность этого идеала. Прекрасно в нашей жизни то, в чем уже сегодня ярко проявляются черты коммунизма — в облике разносторонне-развитого нового человека, в его поступках, в его активной борьбе с уродливым — пережитками в нашей жизни буржуазной идеологии, эгоизма, индивидуализма, мещанства. Борьба прекрасного и уродливого является поэтому объективным законом нашей жизни»²⁷. Поскольку же «проблема эстетической оценки... непосредственно связана с понятием типического как основной сферы проявления партийности в реалистическом искусстве»²⁸, то следовало отличать «типическое» от «массовидного», ибо «типичность далеко не всегда совпадает с массовостью, типичными могут быть и явления единичные, но типичность их состоит в том, что явление закономерно возникает в определенных обстоятельствах, вызывается определенными причинами, раскрывается в процессе своего развития»²⁹, «важно не смешивать типическое с массовидным. Ростки нового, рождающегося могут быть едва заметными, но они являются типическими, ибо за этими ростками — будущее. В равной мере тот или иной порок или недостаток может нечасто встречаться в жизни, но может быть типическим»³⁰. Кроме того, что «типичность» не избавляла от нормы (критику дано заранее знать, что типично, а что нет, что «обречено на гибель», а чему «принадлежит будущее»), образовывались своеобразные качели: если не «массовидно», тогда и нетипично (а значит, ведет к «искажению жизни»), но если так, тогда типично то, что не «массовидно» (и, следовательно, опять — «искажение жизни»).

Но действительно ли мы видим «качели»? «На самом же деле это далеко не так: чтобы выразить правду жизни, типические явления действительности в ее революционном развитии, наш поэт должен обладать передовым мировоззрением, обширными знаниями, опытом борьбы и творчества, изучить существенные стороны жизни, совершенствоваться в мастерстве, — иначе он окажется во власти случайного, частного, нехарактерного, не сможет разобраться в потоке противоречивых явлений действительности, не сумеет увидеть главного, основного, тех тенденций, которые, может быть, еще мало приметны сейчас, но которым принадлежит будущее. Иной читатель может спросить: а не ущемляет ли свободу художника... то, что он призван выразить в неповторимо своеобразных картинах... типические явления самой действительности, ее закономерности, ее жизненно важные стороны? Наоборот: именно стремление в частном и неповторимом запечатлеть истину, жизненную правду является необходимым условием и стимулом развития личности художника... Вне этого возможно только натуралистическое крохоборчество и бесплодное сочинительство на потребу гурманам от литературы»³¹. Эти новые ноты не случайно зазвучали уже в 1954 году.

Вся кампания по борьбе с «бесконфликтностью» и «лакировкой действительности» была организована, как мы могли видеть, в утилитарных политико-идеологических целях и вовсе не была направлена на то, чтобы литература начала изображать подлинные жизненные конфликты. Смерть Сталина привела к тому, что управляемый процесс вышел из-под контроля. Критика «бесконфликтности» и «лакировки», имевшая *внутри* сталинской культуры свои оправданность и *границы*, эти границы начала терять. В борьбе с «бесконфликтностью» выковались силы и аргументы, которые нельзя было ликвидировать с той же легкостью, с какой они ликвидировались еще несколько лет назад.

В богатой идеологическими кампаниями эпохе хрущевской оттепели культура начала обретать новую субстанцию: прежнее, желеобразное ее состояние, когда противоположные полюса можно было поднимать или опускать в зависимости от текущих политико-идеологических задач, завершилось; произошло затвердение — неожиданное и стремительное, когда поднятый полюс (отрицание бесконфликтности) невозможно стало «опустить» — внезапно истекло время.

Начался длительный этап лавирования и взвешивания — ими в значительной степени была окрашена дискуссия, предшествовавшая Второму съезду писателей. Теперь даже те, кто призывал к возврату в прежнее состояние, не могли не учитывать новых обстоятельств, должны были отмежевываться от «бесконфликтности», вступая в явное противоречие с собственными устремлениями. «Нам не нужны книги о “праздниках” — холодные, монументальные и приглаженные произведения, в которых жизнь отполирована до показного блеска. Достаточно потчевали нас такими произведениями писатели, стоявшие на позициях “теории бесконфликтности”. Нам нужна *праздничная* литература, не литература о “праздниках”, а именно *праздничная* литература, поднимающая человека над мелочами и случайностями, обдуманно отбирающая и типизирующая наиболее важные явления жизни» — писал А. Эльшевич³². Эти неловкие, двусмысленные призывы очень характерны для ситуации. Здесь были своя логика и даже свои рокировки — уже через некоторое время тот же критик вынужден был корректировать свое требование: «Только такая — *будничная* по темам, но *праздничная* по своему накалу, по силе заражения читателя высоким строем чувств и мыслей — литература может явиться ответом на призыв партии к писателям — вдохновлять советских людей на творческий труд, на великое дело построения коммунизма»³³. Здесь все то же, но все — в прошлом: нет былого пафоса, силы и напора: в огромном шаре соцреализма произошел прокол и теперь было только делом времени (и, как теперь можно видеть, немалого времени), чтобы сквозь эту брешь вышла из него вся его мощь.

Показательно, что в ходе предсъездовской дискуссии (накануне Второго съез-

да писателей) организаторы должны были искусственно создать «пугало» «идеального героя» с тем, чтобы создать «сверх-уклон» и, таким образом, уберечь теорию соцреализма, начав осторожное ее реформирование (затянувшееся, впрочем, на последующие три десятилетия). Нужно было удержаться от сползания на каком-то рубеже. На таком хотя бы: «Теперь, когда *идеальная точка зрения — точка зрения интересов коммунизма — стала непосредственно практической точкой зрения*, стала оперативной формулой каждодневных дел, теперь всякая идеализация может принести только вред»³⁴. Теория «идеального героя», до которой не договорился даже Ермилов в 1940-е годы, была успешно разгромлена и, таким образом, спасена теория соцреализма, которая, впрочем, обречена была теперь на жалкое существование: закончилось то время, когда соцреализм не уступал «ни пяди» — он начал «реформироваться» и терять свою целостность, тотальность, а для этой культуры уступить *в малом* — значило потерять *все*.

На невозможности высказаться до конца и неизбежном лавировании строилась впоследствии критика шестидесятниками уходящей культуры. Это особая тема, требующая специального рассмотрения. Здесь лишь отметим, что критика шестидесятниками соцреализма была непоследовательной и исторически ограниченной. Ограниченность состояла в том, что задачи искусства сводились к требованию — писать *правду*, тогда как между узко понимаемой «правдой жизни» и «правдой искусства» поистине пропасть. Шестидесятники в главном оставались в рамках прежней культурной парадигмы: с пафосом отвергнув черную магию, они требовали другой «правды» — магии белой. Исторически объяснимо и то обстоятельство, что в шестидесятничестве по сути отсутствовало понимание *эстетической* основы искусства, и в том числе искусства отвергаемого: если бы эстетика соцреализма была осмыслена, произошло бы разрушение эстетического кодекса шестидесятников с его активизмом, социальностью, гиперморализмом, идеологичностью и т. д. Как бы то ни было, соцреалистический мимесис завершал целый цикл развития русской литературы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Б. Бялик. Надо мечтать! // Октябрь. 1947. № 11; *он же*. Героическое дело требует героического слова // Октябрь. 1948. № 2.

2 А. Жданов. Советская литература — самая идейная, самая передовая литература в мире. М., 1934. С. 13.

3 Лит. газета. 1948, 24 июля.

4 Высокая ответственность советского литератора // Лит. газета. 1947, 25 января.

5 В. Ермилов. За боевую теорию литературы! // Лит. газета. 1948, 13 ноября.

6 Там же.

7 О. Грудцова. О романтизме и реализме // Октябрь. 1947. № 8; *она же*. В плену схемы // Октябрь. 1948. № 2.

8 В. Ермилов. За боевую теорию литературы! Против отрыва от современности! // Лит. газета. 1948, 11 сентября.

9 В. Ермилов. За боевую теорию литературы! Против «романтической» путаницы! // Лит. газета. 1948, 15 сентября.

10 См.: Под знаменем марксизма. 1940. № 8.

11 Л. Подвойский, В. Тунков. Старые и новые конфликты // Новый мир. 1948. № 12. С. 176.

12 См.: Е. Эткинд. Советские табу // Синтаксис. 1981. № 9.

13 В. Васильев. Заметки о художественном мастерстве С. Бабаевского // Звезда. 1951. № 11. С. 180.

14 Е. Холодов. О героях критикующих и критикуемых // Лит. газета. 1947, 1 октября.

15 В ноябре 1951 в ЦДЛ прошло специальное открытое партсобрание московских писателей, где каялись в публикации статьи А. Гурвича как руководители «Нового мира» А. Твардовский и В. Катаев, так и причастные к публикации руководители Союза писателей А. Фадеев и А. Сурков (См.: Лит. газета. 1951. 27 ноября).

16 Б. Рюриков. Критика и жизнь // Лит. газета. 1951. 23 октября.

17 В. Ермилов. Некоторые вопросы теории социалистического реализма // Вопросы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. М., 1951.

18 Л. Плоткин. О правде жизни // Звезда. 1952. № 8. С.139.

19 Б. Рюриков. Отрицательные образы и непримиримость писателя // Лит. газета. 1952. 24 июля.

20 W. Kasack. Die russische Literatur 1945—1976. München, 1980. S. 14.

21 Учебник жизни (Передовая) // Лит. газета. 1952. 11 сентября.

22 Б. Рюриков. «В жизни так не бывает» // Лит. газета. 1952. 11 сентября.

23 Бдительность! (Передовая) // Лит. газета. 1953. 17 января.

24 Т. Трифонова. О некоторых вопросах социалистического реализма // Звезда. 1953. № 4. С. 162.

25 Проблема породила обширную литературу. В одном только 1953 году было опубликовано несколько десятков статей — все литературоведение было переключено на рассуждения о типическом. Назовем несколько характерных работ этого года: В. Асмус. Образ как отражение действительности и проблема типического // Новый мир. 1953. № 8; Г. Ломидзе. О правде жизни и о типическом в литературе // Дружба народов. 1953. № 1; Б. Мейлах. О типичности и эстетическом идеале в литературе // Звезда. 1953. № 1; он же. Специфика литературы и проблема типического // Лит. газета. 1952. 13 декабря; А. Мясников. Проблема типического образа в литературе // Октябрь. 1953. № 6; В. Озеров. Живая литература и мертвая схоластика // Лит. газета. 1953. 19 сентября; Б. Реизов. О понятии формы художественного произведения // Звезда. 1953. № 7; Н. Шамота. Типическое — всегда яркое // Днепр. 1953. № 8; Я. Эльсберг. За боевую советскую сатиру // Вопросы философии. 1953. № 2 и мн. др.

26 Цит. по: Лит. газета. 1952. 12 декабря.

27 М. Каган. Проблема прекрасного в эстетическом учении Н. Г. Чернышевского // Звезда. 1953. № 8. С. 161.

28 Б. Мейлах. Специфика литературы и проблема типического // Лит. газета. 1952. 13 декабря.

29 Т. Трифонова. Дело чести и славы // Звезда. 1952. № 7. С. 156.

30 А. Тарасенков. О советской литературе. М., 1952. С. 330.

31 Б. Соловьев. Поэзия и правда // Звезда. 1954. № 3. С. 163.

32 А. Эльяшевич. Будни или праздники? // Звезда. 1954. № 10. С. 184.

33 А. Эльяшевич. Правда жизни и мастерство писателя // Звезда. 1955. № 7. С. 177.

34 В. Днепров. Идеальный образ и образ типический // Новый мир. 1957. № 7. С. 233.